

— В Москве сколько народу погибло!...

— А на железных дорогах...

— А в Прибалтийском крае...

Эти сообщения как-то отскакивали от моего сознания. Отчетливо воспринял я лишь общее настроение товарищей, — настроение подавленности, уныния.

Совет Старост действовал в прежнем составе. Энгель, Вилкин, Крыленко, — все продолжали старостинствовать. Но как непохожа была их работа на нашу деятельность в революционные дни! На первом плане стояла теперь студенческая столовая. Товарищи объяснили мне, что доверие студенческой массы к левым партиям будет зависеть от того, насколько успешно справится нынешний состав Совета со своими деловыми задачами.

Просили и меня приняться за исполнение старостинских обязанностей. Я обещал, что буду посещать заседания, но признался, что новое направление работы не вызывает во мне энтузиазма.

Вообще, не понравилось мне в Университете, — я был еще во власти настроений 1905 года, которые не мирились с воцарившимися здесь новыми веяниями.

То же чувство неудовлетворенности испытал я и на явке Петербургского Комитета. За время моего заключения большевистская и меньшевистская организации в Петербурге объединились. Явка у них была общая, но антагонизм между обоими течениями сохранился, и работники того и другого направления мало соприкасались друг с другом.

Ко мне подошла секретарша большевиков Надежда Константиновна (жена Ленина) и спросила меня о моих намерениях. Я ответил, что готов приняться за работу, но сперва хочу осмотреться. Кстати справился, существует ли еще наша «ораторская коллегия». Оказалось, что «коллегия» давно развалилась, так как с декабря прекратились митинги, и она осталась без дела. Уговаривая меня идти в район, Надежда Константиновна жаловалась, что партийная интеллигенция отлынивает от работы.

Товарищи изображали положение партии в мрачном свете: работа замирает, организация рассыпается, в заводских районах уныние, кружки не собираются, о митингах рабочие не хотят и слышать.

Были на явке и рабочие. Они тоскливо сидели в строенке, ждали «литературы». С одним из них я разговаривал. Спрашивал его о настроениях на заводе. Рабочий говорил нескладно и вяло, но одна его фраза запала мне в память:

— Больно огорчаются наши, что семеновцев прозевали...

Общее впечатление, вынесенное мною и вполне отчетливо врезавшееся мне в память, было, что партия разгромлена не столько внешними полицейскими преследованиями, сколько тем моральным ударом, который испытала она в декабре, когда убедилась в своем бессилии помочь восставшей Москве.

Чувствовалось, что глубокая грань легла между сегодняшним днем и 1905 годом. С жадностью набросился я на газеты, стараясь осмыслить происшедшие перемены.

* * *

Испой картины декабрьских восстаний газеты не давали. Внутренний смысл событий заслонялся отдельными эпизодами, непомерно разросшимися на газетных столбцах.

Как началось восстание? Кто объявил его? Имело ли оно шансы на успех, или с самого начала носило в себе зерно поражения и смерти?

На эти вопросы газеты не давали ответа. Но я нашел в них обильный и потрясающе яркий материал о том, что происходило после московского восстания.

Революция была разбита. И правительство мстило за пережитые минуты слабости.

Безобразной жестокостью были отмечены действия усмирителей. Газеты приводили приказ полковника Мина